

Сказывать - мастер

ИВАНУ ПАН ВКИНУ — 70 ЛЕТ



Мое слово об Иване Федоровиче Панькине неминуемо будет торопливым и поверхностным: время суетное, а он, Панькин, — человек без внешних писательских примет. Без имиджа.

Писательский имидж внушен почтенной публике, особенно телеэкраном. Пусть немного забылось, как классики прошлого десятилетия, развесив на обе стороны седые власы, со слезами на глазах клялись, что только «Малая Земля» научила их писать, но зато ныне другие, тоже со слезами на глазах, только более поджарые, провозглашают что-то вроде «но пасаран!», и по всему видно, то Писатель весь в борьбе идей, весь на передовой и даже одной ногой на бруствере.

А у Панькина — имидж старого тульского рабочего либо пенсионера из какого-нибудь колхоза имени любимой кобылы товарища

Буденного. В пивной за одним столом весь вечер просидишь и не подумаешь, что он писатель.

Пусть Иван Федорович не обижается.

Может, это потому, что у людей гены разные, Иные рождаются писателями, а иные ими становятся. Иного, может, в проекте нет, а уж мама с папой знают, с какого языка он будет переводить и на какой переведут его. А другой и в тридцать, и в сорок лет не знает, что станет писателем.

Датой рождения в паспорте Панькина проставлено 1 декабря 1921 года. Но это условная дата. Родился он в Поволжье, а что там делалось в 21 году, напоминать не надо. Голод вплоть до людоедства. И первые сознательные годы провел осиротевший Иван среди несознательного беспризорного элемента, слонявшегося от Москвы до самых до окраин. Правда, за столь короткий срок после революции крестьянская нравственность изжита не была, и ныне, читая автобиографическую повесть Панькина «Начало одной жизни», удивляешься порядочности этой давней шпаны: и друг о друге она заботилась, и к девочкам благородно относилась, и беспросветной нынешней озлобленности в ней не было... Потом пристал Панькин к бродячему цирку, потом был юнгой и сделал карьеру матроса. Где-то на этих этапах ему и оформили документы, чтобы можно было потом юбилеи отмечать.

В апреле 41-го стал он красноармейцем, а в семь часов утра двадцать второго июня налетели на них, еще и стрелять-то не умевших, немецкие самолеты, — и только парок от части пошел. В 42-м вывезли его, раненого и контуженого, в тыл, в 43-м выпустили из госпиталя инвалидом, что для многих означало конец всех надежд и полноценной жизни.

Вспоминали потом о 20 миллионах погибших, называли и другие цифры, но почему-то никогда, даже на Девятое мая, никто не заикнулся о том, сколько же миллионов раненых пришли с фронта и куда эти миллионы так стремительно делись. Тучами в первые послевоенные годы заполняли они вокзалы и базары, плакали в пивных и пели в поездах, и вся эта великая рать калек и контуженых вымерла почти полностью не только от ран, но и от подвального да барачного комфорта, от нищеты и голода, а паче — от беспросветной тоски, в прямом смысле убивавшей героев войны, освободивших Европу и вернувшихся в трущобные поселки да под мат пьяных колхозных бригадиров в отчаяние и нужду.

И то, что часть из них выжила, — это чудо.

Оклемавшись после войны и все еще временами долечиваясь, Панькин работал в Сибири на заводе, попутно учился, что и само по себе для израненного парня немало, но взвалил на себя и третье дело — начал писать. В сорок два года он получил диплом о высшем образовании, без которого, как известно, ни туды и ни сюды (без диплома, а не без образования). Тут и в Тулу переехал из-за болезни сына, видя в ней соседку Москвы и культурный центр. Культуры в Туле и впрямь было много — целое управление, да еще отдел в обкоме позднее...

Есть редчайшая струя в нашей литературе — традиция народного сказа. Среднерусский Лесков, урало-заводской Бажов, поморские Шергин и Писахов... Мимо этих имен не прошел -никто, рассуждавший о лучшей книге Панькина — «Легенды о мастере Тычке». Но полезно прибавить, что сама форма сказа не терпит топтания по чужим следам, малейшего подражания предшественникам. Тут один путь — идти не от литературы, а от народности, разумея, конечно, не описание сарафана, а проникновение в самый дух народа. Дух же — понятие трудноуловимое и спорное, и ощущение его — само по себе феноменально.

У нас в Туле в оные годы, а нередко и ныне, записывают в аннотации к книгам (которые обычно сами авторы и пишут) достойные анкетные данные: работал на заводе, на стройке или хоть в армии служил. Это как бы оправдание в литературном труде и патент на благонамеренность. Но вот мудрая неслучайность — гимн многовековому тульскому мастерству создал в человек, ни лично, ни через предков к оружейному ремеслу не причастный, в Туле пришлый, даже нерусский по национальности: вышел Иван Федорович из мордвы, из той ее части, что называет себя эрзей. У мордвы он, кстати, не на последнем месте в национальном реестре, хоть и сильно обрусел еще в беспризорные годы.

В общем явился неведомо откуда да и создал в Туле нерукотворный памятник тулякам. И что пережил за это, как делали из него Ивана-дурака, безграмотного графомана и даже преступника, — о том изрядно рассказал Виктор Астафьев в «Зрячем посохе», книге горькой и гневной. Повторять этого не стану, но приведу вывод, с которым не могу не согласиться:

«Он настоящий работник в литературе, не опускающийся до сиюминутного успеха, до быстропроходящих, столь соблазнительных благ, и

этого ему не может простить посредственность, которую мы часто, в особенности в провинции, охотно плодим, затем благодушно журим и равнодушно терпим».

К своему 70-летию Панькин получил первую в жизни премию, не от каких-либо кругов, специально опекающих литературу, а от товарищества «Куликово поле» и храма Двенадцати апостолов — премию имени Сергия Радонежского. И в свои 70 лет исправно пишет в анкетах: «За границей не был». Ну да зачем российскому писателю съездить хоть в Болгарию? От этого кругозор портится? Однако за граница сама находит провинциала, спрятанного от мира в дымной Туле, и он только плечами пожимает: живешь себе, по Малым Гончарам ходишь, а в это время, оказывается, работает японская литературная разведка, и на тебе: сэнсэй Панькин, позвольте вас перевести...

Переводят его много, но, как звучит по-английски или по- французски самоцветное русское слово,—не представляю. Самое же главное, что им, забугорным, до наших чумазных цехов, рабочего фрондерства и национальной гордости, от чего доморощенные «западники» деланно-презрительно фыркают? Ан есть дело. Своего дерьма и у них хватает, а самородки и там в чести.

Сейчас в литературе скверное положение. Все вздорожало так, что детская брошюрка должна стоить рубля два—три, а уж толстая книга становится предметом роскоши. И будет, верно, еще хуже, так что неизвестно, выживет ли литература (я, понятно, говорю не о литературе президентских жен, а о книгах, которые принято передавать по наследству, от родителей к детям). Но, к счастью, многие из нас в свое время собрали библиотеки. И если будет новая книжка недоступна нашим детям, откроем мы сохраненные старые, пусть подивятся, что издавалась у нас настоящая литература, да по демократическим ценам, да не про мордобой- ню и подростковый секс, а про человеческую душу. Там будет и наш нестигаемый Панькин, сказы которого, по Астафьеву, не уступают сказам Лескова. Старых фильмов мы, верно, уже не увидим, пристойных спектаклей нам, пожалуй, не покажут, хорошей песни не споют, а книга — вещь упрямая. Она, однажды родившись, живет и будет жить.

В. Шавырин, писатель.

На снимке: **И.Ф. Панькин**